

Майкл Каннингем
Дом на краю света

Michael Cunningham
A Home at the End
of the World

Майкл Каннингем

Дом на краю света

роман

перевод с английского

Дмитрия Веденяпина



издательство **астрель**

УДК 821.111(73)-31
ББК 84(7Сое)-44
К19

Художественное оформление и макет АНДРЕЯ БОНДАРЕНКО

Издание осуществлено при техническом содействии ИЗДАТЕЛЬСТВА АСТ

Каннингем М.

К19 Дом на краю света : роман / МАЙКЛ КАННИНГЕМ; пер. с англ. Д. ВЕДЕНЯПИНА — М.: Астрель : CORPUS, 2010. — 544 с.

ISBN 978-5-271-24835-1 (ООО “Издательство Астрель”)

Американского классика Майкла Каннингема знают в основном по роману “Часы” (Пуллитцеровская премия, 1999), а еще больше — по экранизации романа, принесшей Николь Кидман “Оскара” за лучшую женскую роль. Вслед за этим фильмом в прокат вышел “Дом на краю света”, где снялись такие звезды, как Колин Фаррелл и Сисси Спейсек.

“Дом на краю света” — первый и едва ли не лучший роман Каннингема, где он рисует картину жизни Америки 60–90-х годов прошлого века. Насыщенное событиями повествование построено так, что свой взгляд на происходящее излагают поочередно все главные действующие лица: Джонатан — мальчишка из Кливленда, Бобби — его школьный друг, а впоследствии любовник, Эллис — мать Джонатана, а также Клэр — ставшая участницей необычного любовного треугольника.

УДК 821.111(73)-31
ББК 84(7Сое)-44

ISBN 978-5-271-24835-1 (ООО “Издательство Астрель”)

- © 1990 by Michael Cunningham
- © Д. Веденяпин, перевод на русский язык, 1997
- © А. Бондаренко, оформление, 2010
- © ООО “Издательство Астрель”, 2010

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	11
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	179
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ	415

Посвящается Кену Корбетту

Поэма, ставшая домом

И, поставив точку, он понял,
Что теперь у него есть гора,

И воздух, которым можно дышать,
И собственная дорога.

Он выстроил пространство, в котором
Все было на своих местах:

И слова, и сосны, и облака,
И совершенная даль, прощающая несовершенство.

Книга обложкой вверх пылилась у него на столе —
И, вечно ошибающийся, он безошибочно вышел

К скале, повисшей над морем,
И, вскарабкавшись на нее, лег,

С изумлением чувствуя, что он дома,
У себя дома.

Уоллес Стивенс

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Бобби

Однажды отец купил кабриолет “шевроле”. Ни о чем не спрашивайте. Мне было пять лет. Просто в один прекрасный день он приехал на нем домой, причем с таким небрежным видом, словно купил не автомобиль, а пачку мороженого. Вообразите удивление матери, которая аптечные резинки и те хранила про запас на дверных ручках; мыла и вывешивала сушиться на веревочке полиэтиленовые пакеты, болтавшиеся потом на солнце, как ручные медузы. Представьте, как, пытаясь отбить сырный дух, она скоблит очередной пакет, уже послуживший ей по меньшей мере раза три-четыре, а тут подкатывает отец на “шевроле”, подержанном, но все-таки настоящем, с хромированными бамперами, — огромный сверкающий металлический остров, целый мир серебристой автомобильной плоти.

Кабриолет с надписью “Продается” на лобовом стекле стоял в центре города, и отец решил, что он тот самый человек, который способен вот так просто взять и купить. Впрочем, уже при подъезде к дому его маниакальный энтузиазм заметно слабеет. Автомобиль — уже обуза. Застывшая улыбка, с которой он сворачивает к гаражу, идеально гармонирует с акульим оскалом радиаторной решетки.

Разумеется, машину придется продать. Мать к ней даже не подойдет. Нас с моим старшим братом Карлтоном один раз прокатят. Карлтон — в восторге. Я настроен скептически. Если отец может купить машину на улице, чего еще от него ждать? Кем делает его этот поступок?

Он везет нас за город. Придорожные стоянки завалены яблоками. На фермерских участках желтеют тыквы. Карлтон в диком возбуждении все время вскакивает на ноги, и его приходится тянуть вниз. Я помогаю. На Карлтоне ковбойский ремень с заклепками. Отец хватает его с одного боку, я — с другого. Мне это нравится. Я делаю полезное дело: помогаю держать Карлтона.

Мы проезжаем большую ферму, застывшую, как корабль на приколе, в волнах пшеницы. Белая крыша прозрачно светится в вечерней дымке. Все мы, даже Карлтон, невольно замолкаем. В этом месте как будто есть что-то родное. Коровы жуют траву, деревья отбрасывают длинные тени. Мы — фермеры, говорю я себе, и вместе с тем нам по карману кабриолет! На свете нет

ничего невозможного! Когда вечером я еду на машине, мне кажется, что луна плывет следом.

— Мы дома! — кричу я, когда мы проносимся мимо фермы, сам не понимая, что говорю, — от совместного воздействия ветра и скорости в голове у меня явно что-то спуталось. Но ни Карлтон, ни отец ни о чем меня не спрашивают. Мы рассекаем живую тишину. Уверен, что в этот момент всем нам грезится одно и то же.

Я запрокидываю голову, чтобы убедиться, что белый шар луны и вправду скользит за нами по бледно-сизому небу. Но вот Карлтон снова вскакивает и что-то кричит, подставив лицо бешеному напору встречного ветра, а мы с отцом тянем его назад, на сиденье этой огромной машины, туда, где ему ничто не угрожает.

Джонатан

В сумерках мы собрались на темнеющем гольфовом поле. Мне пять лет. В воздухе пахнет свежескошенной травой, и в сгущающейся мгле тускло поблескивают песчаные ловушки. Я еду на плечах у отца — одновременно всадник и пленник его огромности. Голыми ногами я, вздрагивая от щекотки, прижимаюсь к его колючим, как наждачная бумага, щекам, а руками держу его за уши — большие, мягкие раковины, усеянные мелкими волосками.

В полумраке мамины красные губы и покрытые лаком ногти кажутся черными. Мать беременна — это

уже заметно, — и люди уступают ей дорогу. Мы раскладываем свои алюминиевые шезлонги на второй травяной дорожке. Народу по случаю праздника видимо-невидимо. Там и сям над переносными жаровнями поднимаются струйки пахучего дыма. Я забираюсь к отцу на колени, и мне разрешают хлебнуть пива. Мать обмахивается воскресным юмористическим журналом. В сиреневом воздухе над нами кружатся комары.

В тот год для устройства фейерверка на Четвертое июля в Кливленд пригласили двух знаменитых братьев-мексиканцев. Эти братья показывали свои шоу в дни государственных и религиозных праздников по всему миру. Они родились в мексиканской глубинке, там, где хлеб выпекают в виде черепов и мадонн, а фейерверки почитают вершиной искусства.

Представление началось еще до появления первой звезды. Первые номера были невыразительны. Словно поддразнивая собравшихся, братья начали с заурадных двойных и тройных петард, спиральных шутих и аэрозольных радуг, распадавшихся на грязновато-бурые орхидеи цветного дыма. Ничего сногсшибательного. Но вот, выдержав паузу, они взялись за дело всерьез. Оставляя в воздухе тонкий серебристый шлейф, вертикально вверх взметнулась новая ракета и, взорвавшись на излете, обратилась в пылающую лилию о пяти лепестках, а на конце каждого лепестка вспыхнуло еще по цветку. По толпе пробежал гул одобрения. Отец, обхватив громадной загорелой ладонью мой живот, спросил, нравится ли мне представление. Я кивнул. Завитки темно-

русых волос густо выбивались из-под ворота его летней полосатой рубашки.

Над нами на серебристых стеблях расцвело еще несколько лилий — малиновых, желтых и розовато-лиловых. Затем по небу принялись разгуливать гигантские змеи — по дюжине зараз, — со свистом изрыгавшие оранжевое пламя. Они сходились, расходились, снова сплетались, вычерчивая в воздухе невероятные кривые и неустанно шипя. Потом пространство заполнилось огромными беззвучными снежинками — одни были правильными кристаллами безупречной белизны, а из других в какой-то момент соткалась статуя Свободы с голубыми глазами и рубиновыми губами.

У тысяч зрителей вырвался вздох восхищения, раздались аплодисменты. Я помню шею отца в пятнышках засохшей крови, шероховатую кожу, неплотно облегающую узловатое устройство, поглощающее пиво. Когда я вскрикивал от какого-нибудь чересчур громкого залпа или оттого, что несгоревшие цветные угольки падали, казалось, прямо на голову, отец успокаивал меня, уверяя, что бояться абсолютно нечего. Звук его голоса гулко отдавался у меня в животе и в ногах. Его ладные руки — на каждой ровно посередине как бы нехотя проступала одна-единственная вена — держали меня крепко и надежно.

Я хочу рассказать о физической красоте отца. Я понимаю, что это не принято. Как правило, рассказывая об отцах, выделяют такие их качества, как бесстрашие или

безудержный гнев, иногда даже нежность. Но я — вспоминая своего отца — хочу особо отметить его безусловную красоту: симметричную мощь гибких рук, светлых и мускулистых, словно вырезанных из ясеня; упругое изящество легкой походки. Это был невысокий, плотный, пропорционально сложенный человек; темноглазый владелец кинотеатра, тихо влюбленный в кинематограф. У матери случались приступы мигрени и раздражительности, отец же всегда был бодр, всегда куда-то спешил и всегда надеялся на лучшее.

Когда он уходил на работу, мы с матерью оставались дома одни. Она либо выдумывала для нас какие-нибудь комнатные игры, либо просила меня помочь ей на кухне. Она не любила гулять, особенно зимой, потому что от холода у нее начинала болеть голова.

Мать была родом из Нового Орлеана. Миниатюрная женщина с точными движениями. Замуж она вышла совсем юной. Иногда она садилась у окна (я должен был сидеть рядом) и глядела на улицу, словно в ожидании той минуты, когда зимний законный пейзаж превратится наконец во что-то привычное, во что-то такое, чему можно будет довериться с естественной беззаботностью полнокровных, громогласных огайских матрон, уверенно пилотирующих свои колоссальные автомобили, набитые продуктами, детьми и престарелыми родственниками. Исполинские пикапы громыхая проносились мимо нашего дома, подобные разукрашенным танкам на парадах в честь военных побед.

— Джонатан, — шептала мать. — Эй, малыш! О чем ты думаешь?

Это был ее любимый вопрос.

— Не знаю, — отвечал я.

— Расскажи что-нибудь, — просила она. — Расскажи мне какую-нибудь историю.

Я понимал, что нужно что-то говорить.

— Ребята идут с санками к реке, — начинал я. (За окном двое соседских мальчишек в шерстяных клетчатых шапочках тянули по снегу облезлый снежокат. Они были старше меня и вызывали во мне смешанное чувство страха и восхищения.) — Они идут кататься по льду. Но им нужно быть осторожными — там проруби. Один маленький мальчик недавно провалился в прорубь и утонул.

Так себе рассказ! Но ничего лучшего придумать с ходу я просто не мог.

— Откуда ты об этом знаешь? — спросила она.

Я пожал плечами. Мне казалось, я сам это выдумал. Я не всегда умел отделить то, что происходило на самом деле, от того, что только могло произойти.

— Ты боишься? — спросила она.

— Нет.

Я представил, как скольжу по широкой ледяной глади, ловко огибая полыньи с рваными, зазубренными краями, куда с печальными, обреченными, едва различимыми всплесками падают другие мальчики.

— С тобой ничего плохого не случится, — сказала мать, глядя меня по голове. — Ни о чем не беспокойся. Нам с тобой ничто не угрожает.

Я кивнул, хотя и услышал нотки неуверенности у нее в голосе. На ее лице — у матери был тяжелый подбородок и маленький нос — дрожал резкий отблеск холодного зимнего света, ударившегося об обледенелую мостовую и зеркальным рикошетом угодившего к нам в дом, где, гуляя по комнатам, он то вспыхивал на столовом серебре, то переливался на гранях люстры.

— А как насчет какой-нибудь *смешной* истории? — спросила мать. — По-моему, она была бы сейчас очень кстати.

— Хорошо, — отозвался я, хотя не знал ни одной смешной истории.

Юмор был для меня чем-то совершенно загадочным. Я умел рассказывать лишь о том, что видел. За окном появилась мисс Хайдеггер, старушка из соседнего дома. Можно было подумать, что ее пальто сшито из мышиных шкурок. Она подобрала газетный лист, занесенный ветром к ней во двор, и проковыляла обратно в дом. Из разговоров родителей между собой я знал, что мисс Хайдеггер смешная. Смешными считались ее страсть к безупречной чистоте и ее убежденность в том, что школы, телефонная компания и лютеранская Церковь находятся в руках коммунистов. Отец иногда говорил высоким надтреснутым голосом:

— Эти коммунисты опять прислали нам счет за электричество. Попомните мои слова: они выживают нас из наших домов!

Услышав что-нибудь в этом роде, мать всегда смеялась, даже тогда, когда и вправду надо было оплачивать

счета, и на лице у нее проступала тревога, особенно заметная в глазах и в уголках рта.

Сидя в тот день у окна, я тоже решил попробовать изобразить мисс Хайдеггер. Писклявым, срывающимся голосом, вообще говоря, не сильно отличавшимся от моего собственного, я произнес:

— Посмотрите, эти гадкие коммунисты закинули газету на мой участок!

Я встал, на негнущихся ногах прошаркал на середину комнаты и, взяв с журнального столика “Тайм”, потряс им над головой.

— Эй, коммунисты! — проквикал я. — Оставьте нас в покое! Перестаньте выживать нас из наших домов!

Мать восхищенно расхохоталась.

— А ты злой, — сказала она.

Я подошел к ней, и она ласково взлохматила мне волосы. Солнечный свет трепетал на тюлевых занавесках и клубился в глубокой голубой конфетнице на столике у дивана. Нам ничто не угрожало.

Отец работал с утра до ночи. Днем он приходил домой обедать и снова уходил. Я до сих пор не понимаю, чем он занимался все это время, — по моим представлениям, управление одним-единственным не слишком процветающим кинотеатром не могло требовать присутствия владельца с раннего утра до позднего вечера. Однако отец работал именно так, и мы с матерью ни о чем его не расспрашивали. Он зарабатывал нам на жизнь,

на дом, защищавший нас от кливлендских зим. А знать больше нам и не требовалось.

Приходя домой обедать, отец приносил на себе запах мороза. Он был как дерево за окном — такой же большой и непреложный. Когда он раздевался, золотистые волоски на его руках поднимались и наэлектризованно подрагивали в мягком, прогретом воздухе гостиной.

Однажды за обедом отец похлопал мать по животу, ставшему к тому времени круглым и твердым, как баскетбольный мяч, и заявил:

— Тройня! Придется покупать новый дом. Две спальни нас уже не устроят. Нет, даже думать нечего!

— Давай сначала расплатимся за отопление, — ответила мать.

— Через год, всего один год, — продолжал он, — мы сможем позволить себе дом попросторнее.

Отец часто говорил о переменах. Если вести себя должным образом, все обязательно устроится. Нужно только следить за своими поступками и мыслями.

— Посмотрим, — миролюбиво отозвалась мать. Отец встал и погладил ее плечи, которые при этом целиком исчезли у него в ладонях. Наверное, если бы захотел, он мог обхватить ее шею большим и средним пальцами одной руки.

— Ты думай о ребенке, — сказал он, — и о своем здоровье. Остальное я беру на себя.

Мать не противилась его ласкам, но — судя по выражению лица — удовольствия от них не получала.

С приходом отца ее взгляд становился таким же настроенным, как и во время наших совместных выходов на улицу. Она начинала нервничать, как будто вместе с отцом в дом проникало что-то постороннее, что-то из чужого, законного мира.

Отец надеялся, что мать что-нибудь ответит, чтобы можно было и дальше плыть в этом нескончаемом потоке наших семейных разговоров. Но она молчала. Ее плечи под его пальцами были болезненно напряжены.

— Ну что ж, мне пора на работу, — наконец произнес он. — До встречи, старина! Ты уж присматривай тут за всем!

— Хорошо, — сказал я.

Он похлопал меня по спине и крепко поцеловал в щеку. Мать встала и начала мыть посуду. Я остался сидеть за столом, наблюдая, как отец прячет свои сильные руки в рукава пальто и вновь исчезает за дверью.

В тот вечер, когда мать, уложив меня в постель, смотрела внизу телевизор, я прокрался в ее комнату и покрасил губы ее помадой. Даже в темноте я разглядел, что ничего особенно обворожительного не вышло — больше всего я был похож на клоуна. Но все-таки я выглядел по-новому. Я нарумянил щеки и нарисовал черные брови поверх собственных бесцветных.

Потом на цыпочках проскользнул в ванную. Снизу доносились мелодичный смех и переливы негромкой музыки. Я поставил табурет на то место, где, бредя по утрам, всегда стоял отец, залез на него и загля-

нул в зеркало. Мои крашенные губы были огромными и бесформенными, румяна лежали неровно. Я не был красавцем, но мне казалось, что при определенных условиях могу им стать. Нужно только следить за своими поступками и мыслями. Осторожно, так, чтобы не скрипнули несмазанные петли, я открыл дверцу подвесной аптечки и вытащил папин баллончик с “Барбазолом”. Я точно знал, что делать: энергичным, нетерпеливым движением баллончик следовало встряхнуть, затем напрыскать на левую ладонь воздушную горку белоснежной пены и, наконец, с беспечной щедростью нанести ее на подбородок и шею. Накладывание косметики требует собранности минера; бритье — торопливое действие, лишённое всякой тщательности. После него на коже остаются багровые точки запекшейся крови, а в раковине — жалкие комки слипшихся волосков, безжизненных, как лоскутки змеиной кожи.

Намылив подбородок, я долго смотрелся в зеркало. Мои подведенные глаза темнели, как пауки, над застывшими волнами снежной пены. Я не был похож ни на женщину, ни на мужчину. Я был чем-то еще, чем-то особенным. В тот момент я понял, что есть много способов стать красивым.

Мамин живот все рос и рос. Во время одного из наших походов по магазинам я потребовал и получил пластмассовую куклу с ярко-алыми губами и васильковыми глазами, захлопывающимися — миниатюрные веки-

ставенки издавали при этом характерный клацающий звук, — когда куклу переворачивали на спину. Подозреваю, что покупка куклы не была случайностью. Вероятно, родители рассчитывали таким образом помочь мне справиться с комплексом обделенности. Мать научила меня пеленать и купать куклу в кухонной раковине. Даже отец проявлял интерес к здоровью моего игрушечного ребенка.

— Ну, как малышка? — спросил он как-то перед обедом, когда я вынимал негнущееся тельце из раковины.

— Хорошо, — сказал я.

Вода вытекала из ее сочленений. От ее желто-лимонных волос, пучками торчавших из аккуратных дырочек в черепе, пахло мокрым свитером.

— Славная девочка, — сказал отец и погладил твердую пластмассовую щеку своим огромным пальцем.

Я ликовал. Значит, он тоже ее любит.

— Да, — сказал я, заворачивая безжизненное создание в толстое белое полотенце.

Отец опустил на корточки, пахнув на меня пряным запахом своего одеколона.

— Джонатан! — сказал он.

— А?

— Ты ведь знаешь, что вообще-то мальчишки не играют в куклы?

— Угу.

— Это твой ребенок, — сказал отец, — и когда ты дома, все в порядке. Но другие ребята могут тебя не понять. Поэтому играй с ней только здесь, хорошо?

— Хорошо.

— Значит, договорились, — он похлопал меня по плечу, — ты будешь играть с ней только в доме.

— Хорошо.

Я стоял перед ним, маленький, со спеленутой куклой в руках, испытывая первое в жизни настоящее унижение. Я вдруг увидел всю дикость, всю несуразность своего поведения. Разумеется, я знал, что это всего лишь игрушка, причем чуть-чуть позорная, какая-то неправильная игрушка! И как только я мог позволить себе думать иначе?

— Ты себя нормально чувствуешь? — спросил отец.

— Угу.

— Вот и отлично. Ну, мне пора! Проследи тут за всем!

— Папа!

— Что?

— Мама не хочет ребенка, — сказал я.

— С чего ты взял? Конечно хочет.

— Нет. Она мне сама сказала.

— Джонатан, детка, и мама, и папа очень рады, что у нас будет еще один ребеночек. А ты разве не рад?

— Мама совсем не хочет. Она мне сама сказала. Она говорит, что он тебе нужен, а ей нет.

Я взглянул в его огромное лицо и почувствовал, что добился некоего подобия контакта. Его глаза вспыхнули, а на носу и щеках проступила сетка кровеносных сосудов.

— Неправда, дружище, — сказал он. — Просто мама иногда говорит не совсем то, что думает. Поверь, она рада этому ребенку не меньше нас с тобой.

Я молчал.

— Ну вот, я уже опаздываю, — сказал он. — Поверь, когда у тебя появится сестренка или братик, мы все ее ужасно полюбим. Или его. Ты будешь старшим братом. Все будет замечательно!

Он немного помолчал и добавил:

— Присматривай тут за всем, пока меня нет. — Потом погладил меня по щеке своим гигантским большим пальцем и ушел.

Ночью я проснулся от приглушенного шума, доносившегося из-за двери родительской спальни в конце коридора. Мать с отцом переругивались свистящим шепотом. Я лежал и ждал, сам не знаю чего. Вскоре я уснул, и до сих пор у меня нет полной уверенности, не приснилась ли мне эта ссора. Мне и сегодня бывает трудно отделить то, что произошло на самом деле, от того, что только могло произойти.

Когда однажды декабрьским вечером у матери начались схватки, меня оставили с нашей соседкой, мисс Хайдеггер, мутноглазой подозрительной старушкой. Ее волосы от чересчур заботливого ухода превратились в редкие седые патлы, сквозь которые просвечивала розоватая кожа черепа.

Пока я наблюдал, как родители садятся в машину, мисс Хайдеггер стояла рядом, источая легкий аромат увядших роз. Когда машина скрылась из виду, я сказал:

— Вообще-то мама не собирается рожать.

— Не собирается? — вежливо переспросила она, явно не зная, как вести себя с детьми, когда они начинают говорить странные вещи.

— Она не хочет рожать, — продолжал я.

— Ну-ну, знаешь как ты полюбишь малыша! Вот привезут его мама с папой домой, сам увидишь, какой он будет сладенький! Ты даже представить себе не можешь!

— Мама не хочет ребенка, — не унимался я. — Он нам не нужен.

Тут мисс Хайдеггер не выдержала. Ее морщинистые щеки густо покраснели, и, возмущенно фыркнув, она ушла на кухню готовить ужин. Она приготовила какую-то болтанку из чего-то мягкого и вареного, что мне, с моим детским пристрастием к нежной пище, страшно понравилось.

Отец позвонил из больницы уже за полночь. Мы с мисс Хайдеггер оказались у телефона одновременно. Мисс Хайдеггер — в голубом фланелевом халате — сняла трубку и застыла, неестественно выпрямившись, часто-часто кивая морщинистой головой. Я догадался, что что-то случилось, по ее глазам, вдруг подернувшимся тончайшей сверкающей пленкой, — так выглядит лед на реке перед тем, как окончательно растаять, когда это даже не лед, а скорее призрак льда, парящий над лучисто-карей водой.

Ребенок отменяется, объяснили мне, как авиарейс или подгоревший пирог. Лишь много лет спустя по каким-то обрывочным фразам мне удалось восстановить

реальную картину обмотавшейся пуповины и разорванной плоти.

У матери была клиническая смерть, и ее чудом вернули к жизни. Ей пришлось сделать полное выскабливание. Новорожденная девочка скончалась сразу, успев лишь один-единственный раз пискнуть под флюоресцентными лампами родильного отделения.

По-видимому, у отца просто не было сил сообщить мне эту новость, и он предоставил это мисс Хайдеггер. Когда она положила трубку, ее лицо выражало такое смятение, с каким, наверное, приветствуют саму смерть. Я понял, что произошло что-то ужасное.

— Бедные вы, бедные, — пробормотала она, — бедный мальчик.

Случившееся, хотя я так и не понял, что именно случилось, явно давало повод для скорби. Но несмотря на все мои старания почувствовать себя несчастным, я, напротив, ощущал воодушевление и чуть ли не радовался возможности хорошо себя проявить в непростой ситуации.

— Ты только не пугайся, детка! — сказала старушка влажным голосом с призывком подлинного ужаса. В горле у нее что-то булькало.

Поколебавшись, я повел ее к стулу, и — к моему удивлению — она послушно пошла за мной. Сбегав на кухню, я принес ей стакан воды — ничего более подходящего случаю я придумать не мог.

— Ты только не пугайся, я побуду с тобой, — повторила она, когда я положил на стол подставку для ста-

кана. Она попробовала затянуть меня к себе на колени, но у меня не было ни малейшей охоты там сидеть. Я остался стоять у ее ног. Она погладила меня по волосам, а я дотронулся до ее острого узловатого колена, обтянутого фланелью. — А казалось бы, так хорошо себя чувствовала! Так чудно выглядела! — произнесла она с какой-то обреченной полувопросительной интонацией.

Осмелев, я прикоснулся к ее тонкой, дряблой старческой руке.

— Ах ты бедняжка, — сказала она. — Ты только не бойся, я никуда не уйду.

Я стоял, не выпуская ее костлявой руки. Она улыбнулась. Мелькнула ли тень удовольствия в ее улыбке? Может быть, и нет. Скорее всего, мне просто показалось. Я нежно поглаживал ее руку. Мы провели так довольно много времени, притихшие, но не сломленные и смутно довольные собой, — как две старые девы, научившиеся находить утешение в бездонном море людского страдания.

Мать вернулась из больницы через неделю, замкнутая и как будто смущенная. Войдя в дом, они с отцом огляделись по сторонам так, словно попали сюда впервые, и то, что они увидели, не вполне соответствует их ожиданиям.

В отсутствие матери мисс Хайдеггер населила наши комнаты собственными запахами: смесь водянистого амбре ее цветочных духов с ароматами непривычной еды. Она пожалала родителям руки и торопливо юркнула

за дверь, как будто в доме с минуты на минуту должен был вспыхнуть пожар.

Как только соседка ушла, мать с отцом опустились рядом со мной на колени. Они окружили, буквально окутали меня собой, и я зарылся в них, провалился в их родные свежие запахи.

Отец заплакал. Я никогда до этого не видел его в слезах, а тут он рыдал в голос, издавая клокочущие, склизкие всхлипы, похожие на те звуки, что производит засорившийся кран. В порядке эксперимента я положил свою руку на его. Он не скинул ее, не обругал меня. Его светлые волоски торчали у меня между пальцами.

— Все в порядке, — прошептал я, но, кажется, он меня даже не слышал. — Все в порядке, — сказал я громче.

Однако заметного облегчения мои слова ему не принесли.

Я взглянул на мать. Она не плакала. Ее лицо было бледным и пустым, словно вовсе лишенным выражения. Мать напоминала полое тело, в которое не вдохнули еще человеческую душу. Но, почувствовав на себе мой взгляд, она резким сомнамбулическим движением притянула меня к груди. От неожиданности я выпустил отцовскую руку. Мать с силой вдавила мое лицо в складки своего пальто, и я потерял отца. А она прижимала меня к себе все сильнее и сильнее. Мои уши и нос уже полностью исчезли в меховом ворсе. Рыдания отца стали глуше — миновав поверхностный холодный слой, я все глубже вжимался в родное душистое тепло. В какой-то момент я попытался вырваться и возвратиться к отцу, но силы были

слишком неравными. И тогда, перестав сопротивляться, я целиком отдался более хищному горю матери.

Мать сделалась еще большей домоседкой, чем прежде. По утрам она часто брала меня к себе в постель, где мы порой оставались до полудня: читали, смотрели телевизор, играли в игры и рассказывали друг другу истории. В глубине души я знал, чем мы занимаемся в эти долгие утренние часы: готовимся к тому времени, когда нас будет только двое. Мы учились жить вдвоем, без отца.

Чтобы развеселить мать, я пародировал разных людей — кого угодно, кроме мисс Хайдеггер. Время от времени я изображал мать, заставляя ее буквально визжать от смеха. Я напяливал ее шарфы и шляпы и говорил с новоорлеанским акцентом, в моем исполнении представлявшим собой нечто среднее между выговором южан и жителей Бронкса.

— О чем ты думаешь? — спрашивал я, растягивая слова. — Солнышко, расскажи мне что-нибудь!

Мать всегда хохотала до слез.

— Ты просто бесподобен, — говорила она. — А может быть, отдать тебя в актеры? Ей-богу, ты смог бы обеспечить безбедную жизнь своей слабоумной старушке-матери.

Когда мы наконец вставали, она, быстро одевшись, начинала убираться и готовить с неутомимостью подлинного художника. Приходя с работы, отец не массировал больше ее плечи, не целовал ее в лоб или в кон-

чик носа с нарочито громким чмоканьем. Не мог. Вокруг матери образовалось силовое поле — прозрачное и твердое, как стекло. Я видел, как оно разрасталось, когда отец входил в дом, принося на пальто угрожающие запахи внешнего мира. Внутри этой прозрачной оболочки мать оставалась прежней: умное, слегка воспаленное лицо, точные движения хирурга, какими она сервировала стол и подавала превосходно приготовленный обед, — к ней только нельзя было прикасаться. Мы оба чувствовали это — и отец, и я — тем определеннее, чем необъяснимее было наше чувство. Мать была сильным человеком. Мы обедали (обеда становились все изысканнее, на кулинарном поприще мать брала все новые и новые высоты), вели обычные будничные разговоры, после чего отец целовал воздух рядом с нами и уходил обратно на работу.

Однажды в конце весны я проснулся ночью от шума настоящей ссоры. Родители были внизу. Даже ругаясь, они почти не повышали голос, поэтому до меня долетали лишь отдельные слова. Приглушенно, как из плотного мешка. Я услышал, как отец произнес слово “наказание”, на что спустя целую минуту мать ответила: “То, что ты хочешь... это... это эгоистично”. Я лежал в темноте и слушал. Вдруг раздались шаги — отец поднимался по лестнице. Я подумал, что он идет ко мне, и искусно подделал ангельский сон: голова — ровно посередине подушки, губы слегка приоткрыты. Но отец прошел

мимо, к их с матерью общей спальне. Я услышал, как скрипнула дверь, и все стихло.

Мать не пошла за ним. Дом молчал, объятый зимней ледяной тишиной, только темные листья сирени и кизила терлись о стекла. Я, съезжившись, лежал в постели, не зная, чего ожидать в такую ночь. Попытки снова уснуть ни к чему не привели.

В конце концов я вылез из кровати, вышел в коридор и подошел к родительской спальне. Дверь осталась полуоткрытой. Коридорный сумрак был прорезан тяжелым розовато-золотистым светом лампы в пергаментном абажуре, висевшей у них над кроватью. Из кухни долетало резкое мелодичное пощелкивание — мать очищала орехи пеканы.

Отец, раскинувшись, лежал на их двуспальной кровати, являя собой совершенный образ покинутости. Его лицо было обращено к стене, на которой в серебряной рамке синела пустынная парижская улица. Рука безвольно свесилась вниз, огромные пальцы замерли в воздухе; грудь вздымалась и опускалась в мерном ритме сна.

Я стоял у двери, не зная, что предпринять, в тайной надежде, что он почувствует мой взгляд, заметит меня и начнет сетовать, что меня разбудили. Но он лежал в той же позе, и тогда я бесшумно вошел в комнату. Пора было что-то сказать, но я не мог ничего придумать и решил, что само мое присутствие должно будет к чему-нибудь привести. Я окинул взглядом комнату: на низком двухтумбовом шкафчике стояла мамина косметика и духи на перламутровом подносе. В зеркале, забранном в

дубовую раму, отражался кусок противоположной стены — аккуратный четырехугольник обоев в цветочек. Я подошел к кровати и, не имея никакого плана дальнейших действий, осторожно тронул отца за локоть.

Он поднял голову и посмотрел на меня чужим, отсутствующим взглядом, так, словно мы уже много лет не виделись и теперь он мучительно пытается вспомнить, как меня зовут. У него было такое лицо, что я чуть не умер от страха. На какое-то мгновение мне показалось, что он все-таки ушел от нас, что его уже нет, что он окончательно потерял свою отцовскую составляющую и теперь передо мной был просто мужчина, большой, как автомобиль, но совершенно беспомощный, как младенец. Пораженный этой переменой, я стоял перед ним в своей желтой пижаме и улыбался виноватой улыбкой.

Но уже в следующую секунду он пришел в себя. Его лицо собралось, приняло знакомое выражение, и он накрыл мою руку своей мягкой ладонью.

— Эй, — сказал он, — а ты что тут делаешь?

Я пожал плечами. Я и сегодня не могу сказать правду без того, чтобы перед этим немного не помолчать.

Отец мог бы взять меня к себе в постель. Этот жест выручил бы нас обоих — по крайней мере на какое-то время. Я желал этого всеми фибрами души. Я бы отдал все, чем владел в самых необузданных фантазиях, за то, чтобы он взял меня на руки и прижал к себе, как в тот праздничный июльский вечер, когда небо волшебным образом раскалывалось над нашими головами. Но, видимо, ему было стыдно, что его поймали за семейным скандалом. Полу-

чалось, что он, разбудив ребенка, наорал на жену, после чего бросился на кровать, как девочка-подросток с разбитым сердцем. И с этим уже ничего нельзя было поделать.

— Иди ложись, — сказал он, возможно, чуть резче, чем ему самому хотелось.

Наверное, он все-таки надеялся каким-то образом спасти положение, полагая, что, если поведет себя достаточно решительно, можно будет сделать некий кульбит во времени и заштопать разошедшуюся ткань моего сна. И тогда утром в моей памяти сохранятся лишь обрывки смутных сновидений.

Но я его не послушался. Ведь я пришел, чтобы утешить его, а он, он отсылает меня спать. Меня душила обида, слезы навернулись на глаза. Должно быть, от этого ему стало еще невыносимей. А мне всего лишь требовалось знать, что я ему нужен, что своей отзывчивостью и добротой я все-таки завоевал право на его любовь.

— Джонатан! — сказал он. — Джонатан! Пошли!

Я позволил ему отнести меня в мою комнату. У меня не было другого выхода. Он взял меня на руки, и впервые в жизни я не испытал удовольствия от его прикосновений, его пряного запаха, округлой ясности его лба. В эти мгновения мне передалась закрытость матери, ее особое умение держать дистанцию. Я много раз пародировал ее и в тот момент на ходу просто не мог придумать ничего другого. Если бы отец погладил мои усталые плечи, я бы сжался, если бы он вошел в дом, деловито обивая снег с ботинок, я бы в панике вспомнил о пригоревшем суфле из шпината.

Он уложил меня в постель, укрыл и довольно ласково попросил закрыть глаза. Ничего плохого он не делал. Но я, не помня себя от ярости, соскочил на пол и бросился к коробке с игрушками. У меня ломило в затылке и звенело в ушах, новые, неведомые чувства нахлынули на меня.

— Джонатан! — сердито сказал отец.

Он попробовал было схватить меня, но не успел. Сунув руку в коробку с игрушками, я нащупал на самом дне гладкую пластиковую ногу и, выудив за нее куклу, крепко прижал ее к груди.

Отец растерянно остановился около моей детской кроватки. На ее деревянной спинке на лугу, украшенном розовыми цветочками в четыре лепестка, в экстазе танцевал мультипликационный кролик.

— Она моя! — истерически выкрикнул я.

Пол поплыл у меня под ногами, и я еще сильнее вцепился в куклу, словно только она одна могла помочь мне сохранить равновесие.

Отец потряс головой. Единственный раз на моей памяти ему изменило его непоколебимое добродушие. Он хотел столь многого, а мир съеживался у него на глазах. Его избегала жена, бизнес не приносил ощутимого дохода, а единственный сын — и других детей уже не будет — любил кукол и тихие комнатные игры.

— Господи, Джонатан, — взревел он. — Господи боже ты мой! Да что с тобой, черт возьми? Что?

Я молчал. Мне нечего было ему сказать, хотя я понимал, как он этого ждет.

— Она моя! — вот все, что я мог предложить ему в качестве ответа.

Я так сильно прижал к себе куклу, что ее жесткие ресницы больно впились мне в грудь через пижаму.

— Прекрасно, — сказал он уже спокойнее, тоном побужденного. — Прекрасно. Она — твоя!

Повернулся и вышел.

Я слышал, как он спускается по лестнице, вынимает из стенного шкафа в холле свою куртку; слышал, что мать так и не смогла заставить себя с ним заговорить; слышал, как он закрывает за собой входную дверь с тщательностью, предполагающей, что он не вернется уже никогда.

Он вернулся на следующее утро, проведя эту ночь на диване в своем кинотеатре. Спустя какое-то время мы, преодолев взаимную неловкость, вновь зажили по-старому — нормальной семейной жизнью. Между матерью и отцом установились добрые, немного ироничные отношения, не предполагавшие ни страстных поцелуев, ни ссор. Они стали уступчивыми и нетребовательными, как повзрослевшие брат и сестра. Отец не задавал мне больше непосильных вопросов, хотя тот единственный его вопрос продолжал потрескивать у меня в затылке, как неисправная электропроводка. Достижения матери в области кулинарии получили известность. В 1968 году фотографию нашей семьи поместили в воскресном приложении к “Кливленд пост”: мы с отцом — оба прекрасно одетые, исполненные законной гордости и нетерпения — наблюдаем за тем, как мать нарезает креветочный пудинг.